## Счастливый день Тимофея Кольцова

# Сергей Снегов

У Тимофея были две особые мечты. Особость их была не в природе этих мечтаний — примерно того же хотели и все мы. Во всяком случае, никто не возражал бы, чтоб у него — или с ним — осуществились такие мечты. Тимофей отличался от нас тем, что хотел этого с очень уж большой силой. Он не тешился своими мечтами, а вкладывал в них душу.

Первая состояла в том, что он желал любви. Он мечтал, чтобы в него влюбилась хорошая женщина, и по-хорошему влюбилась — со слезами, с обмиранием при встрече, с горячими ласками наедине и с непременной готовностью ради всего этого пойти на любую жертву: на потерю свободы, здоровья, может быть, даже жизни. Величиной возможной жертвы измерялась сила его воображаемой любви. Что и говорить мечта неплохая, каждому бы ее.

Вторая была попроще — напиться. Когда мечты, накаливаясь в одиночестве, достигали непереносимой остроты, Тимофей приходил ко мне в потенциометрическую и садился на табурет.

— Како веруешь? — спрашивал он, вздыхая.

— Поклоняюсь лагерным святым, философам Канту и Филону, отвечал я.

Это означало, что я кантуюсь и филоню, то есть увиливаю от работы. Я не кантовался и не филонил, а, наоборот, усердно трудился, но Тимофею нравилась моя острота, он хохотал минуты две или три. Он очень забавно смеялся, весело и душевно, смех его никого не обижал, даже если смеялись над кем-нибудь, а не вообще. Человек, услышавший, как Тимофей смеялся, еще не зная, в чем дело, тоже начинал хохотать. Самым же смешным в смехе Тимофея было то, что смех набегал приступами: заклокочет, запенится, понемногу ослабеет и затихнет, потом снова вырвется наружу громким клокотанием. Смотреть на эту веселую судорогу было всегда занятно.

Отсмеявшись вдосталь, Тимофей говорил:

— Сережа, слыхал — на стройку приехали тысяча девчат из таежных сел. Молоденькие, хорошенькие...

— Не все хорошенькие, — возражал я.

— Все, Сережа! Нехорошеньких девчат не бывает. В наш цех занаряжено человек десять. Ох и хорошо же будет!

— Да чем же хорошо, Тимоха?

— Всем! Ну как ты не понимаешь? Девчата кругом — рожицы же, смех... Воздух станет звонким, без глухоты, как сейчас...

— И какая-нибудь из этих смешливых рожиц влюбится в тебя? — доканчиваю я.

— А что? Неужто в меня и влюбиться нельзя? Нет, ты скажи — нельзя?

Я отрывался от приборов и смотрел на него. Он сидел на табуретке, унылый и добрый, и с волнением ждал моего ответа. У него было сразу запоминающееся лицо типичного казака-кубанца (он был краснодарский), как их обычно рисуют, не хватало лишь лихих кудрей и бравых усов. Когда он надевал свою высокую, как шлем, шапку, сходство с лубочной картинкой казака-молодца еще усиливалось. Лицо было из тех, нередко встречающихся, которые, даже бритые, почему-то кажутся усатыми.

Вместе с тем Тимофей был некрасив. Негладкая темная кожа очень портила это хорошее по рисунку лицо, к тому же временами его одолевали прыщи, естественный результат плохого питания и мужского одиночества.

И на обеих руках Тимофея сохранилось не больше трети пальцев, и, хоть орудовал он своими культяпками не хуже, чем я десятью нормальными, он мучительно сознавал, что урод. Несчастье с руками произошло еще в детстве и наложило коверкающую печать на психику — Тимофей уже не верил, что он такой же человек, как другие, он считал себя абсолютным неудачником во всем. Может, от этого и проистекала острота его первой, главной, мечты.

— Значит, вовсе нельзя? — повторял он упавшим голосом. У него быстро менялись настроения. Он в минуту переходил от смеха к горю и от горя к веселью. Но это происходило не оттого, что он неглубоко чувствовал, а потому, что он чувствовал много больше любого из нас.

— Нет, что ты, Тимоха! — говорил я. — В тебя даже очень можно влюбиться. Будь я женщиной, я бы только в таких, как ты, и влюблялся.

Я, разумеется, не лгал. Стань я хоть на срок женщиной, я бы чувствовал себя счастливым только с таким сердечным, покладистым, услужливым и преданным мужчиной, как Тимофей. Но я не был женщиной, они же мало походили на меня. Кроме того, они хуже знали мужчин, чем знал их я, Если и выпадала им печальная судьба любить заключенного, то они влюблялись в людей иного сорта — самоуверенных, энергичных, умеющих за себя постоять, умеющих для себя оторвать. И все они твердо знали, что десять пальцев лучше, чем четыре, два глаза удобней, чем один, а если и мирились на одной голове, то требовали от нее почти невозможного — и тяжести на ней таскай, и мыслями поражай, и по хозяйству шевели мозгами. Нет, женщины не разбираются в природе мужчин, это им не дано.

Для усиления я уверял Тимофея:

— Вот увидишь, среди новых девчат ты подберешь подругу. А уж если вольная полюбит заключенного — точно любовь! От нашего брата ведь ни корысти, ни удобства, ни семейной обеспеченности — так сказать, одно голое чувство...

Тимофей благодарно смотрел на меня.

— Выпить бы! — говорил он растроганно. — В честь их приезда хоть стопочку, а?

— А вот спирта нет! — отвечал я.

Новые девушки появились в нашем цехе осенью, и почти всех их отдали на выучку к Тимофею. Он был старшим на электролизных ваннах. Работа в его отделении была типично женским занятием — что-то зачищать, что-то поправлять, что-то легонько закручивать и откручивать. Среди девушек выделялась Лена — высокая, красивая, деловитая, дерзкая на язык. Тимофей уже через неделю был в нее без памяти влюблен. Ему вообразилось, что мечта его близка к осуществлению.

— Сережа! — вскоре объяснял он с восторгом. — Умница же эта Ленка, свет таких не видел. Начну что излагать, сама заканчивает, на ходу все схватывает.

— На ходу портянки рвет, — ответил я по-лагерному, чтобы умерить его пыл.

— При чем тут портянки? Соображение, а не портянки. И глазищи!.. Синие, умные, огромные...

— Как у коровы, — хладнокровно продолжал я.

— И печальнее коровьих... — он не дал себя сбить. — А руки! Все могут — вот руки! Толковейшие руки. Вчера под вечер я ее немножечко тиснул — такого леща выдала, еле на ногах устоял! В шутку, само собой... Она так и объяснила, что в шутку.

— Хороши шутки! — мрачно сказал я и зловеще покачал головой. Я уже видел, куда он клонит.

В лице у Тимофея появилась мольба.

— Не в службу, а в дружбу!.. Завтра мне с ней во вторую смену выходить. Неужто такой случай пропускать? Он же год не повторится! Двое — он и она, Тимофей Кольцов и Лена Семитина, и больше никого в целом цехе. Пойми же! Я и она! Как она смотрит на меня, как слушает! Золотое сердце, чистейшего золота, вот какая она!

— Говорю тебе, нет спирта! — Я отвернулся, я мучительно перебарывал свою жадность.

Он опустил голову и бормотал:

— Нет, не смогу! Ты бы смог, а я не смогу. У тебя язык — подвешенный, а у меня — прикованный. Рассказать бы ей, как дошел до такой жизни и что у меня на сердце... Без ста грамм не сумею. Она ко мне всей душой, а без слова все равно не выйдет душевности! Такой случай, что совсем вдвоем — и ни к чему!

Я полез в шкаф и достал заветный пузырек.

— На, сто кубиков чистого спирта. Все запасы, разцеди раза в два.

— Учи! В спирте я, брат, как ты в рифмах. Для женщины надо разводить раза в три, иначе вкус не тот. Ну спасибо, вот же друг настоящий, просто выручил, ну просто выручил! Сегодня у меня счастливый день! Счастливый день, пойми!

Он убежал к себе, Я порадовался его счастью. Лена, несмотря на свою красоту, мне не нравилась. У нее была хорошая женская внешность без крохи женского очарования. Я угадывал в ней хищника и приобретателя, бессовестного кулака в юбке — такие иногда приезжали к нам из глухих сибирских уголков, где еще сильна в дремучих лесах не проветренная как следует старина. И эта самая бездушная Лена была, оказывается, всей душой к Тимофею, заслушивалась его, засматривалась на него. У нее вдруг обнаружилось сердце, и не простое, а чистейшего золота! Воистину любовь шагает без дорог, загорается без огня. Всего можно ожидать от такой непостижимой штуки, как любовь.

Тимофей готовился к завтрашнему вечернему дежурству, как к ледовому походу. У каждого заключенного имеются запасы, собираемые месяцами для праздников, — пачка печенья, кулечек конфет, банка консервов, что-нибудь из тряпья. Тимофей поскреб и помел по всем своим заначкам, купил и наменял, чего не хватало, — когда он выходил из зоны на дежурство, все его карманы оттопыривались. Если бы охрана оказалась бдительной, он вместо работы сразу бы попал в карцер. Но вохровцы не хуже нас знали, как быстро оскудели с началом войны все лагерные зоны. Те времена, когда мы не съедали выдаваемого хлеба, давно прошли. Мы были до того голодны, что, проходя по улицам, щелкали зубами на вывески магазинов, где были нарисованы невероятные довоенные снеди вроде ветчин, колбас и тортов. Обыскивать нас было напрасным трудом — у кого заводилось что, тот не доставлял стрелкам и комендантам легкой удачи.

— Ни пуха ни пера! — сказал я Тимофею, готовясь к уходу домой. — Люби покрепче! Придешь, разбуди и расскажи, как окончился твой счастливый день.

— Пошел к черту! — ответил он на пух и перо и добавил, ликуя: — А насчет любви — крепче, чем у нас, немыслимо! Все расскажу тебе первому. Ах, Сережа, Сережа, такой сегодня день, такой день!

Но получилось так, что главное об этом дне мне рассказал не он, а наш нарядчик, Тимофей же впоследствии лишь добавил детали. Ночью, прямо с вахты Тимофея отвезли в ШИЗО. Если у Лены и было сердце, то не золотое, а каменное. Начался вечер удачно — наладили устойчивый процесс на ваннах и часам к восьми, сели ужинать. Лена достала свой хлеб да лук, да сгущенное молоко, Тимофей блеснул варварской роскошью — коробками крабов, консервированной колбасы и зеленого горошка. К этому он добавил сто граммов конфет-подушечек и плитку сухого, как черепица, шоколада. А посреди стола водрузил бутылочку обильно подслащенной и подкрашенной водки из выпрошенного спирта.

— Леночка! — сказал он, умоляюще приложив изуродованную руку к сердцу. Прошу от души!

Водка была осушена с первого же захода, а через полчаса от консервов остались только банки. О чем говорили, сам Тимофей не помнил, но в ходе разговора он подарил Лене главное свое сокровище: носки из верблюжьей шерсти, присланные из дома еще перед войной, — она приняла подарок с охотой. А потом он надумал ее поцеловать, и она огрела его на этот раз без шутки.

— Леночка! — воскликнул он озадаченный. Ну что это ты?

— А вот то, — сказала она. Всякая мразь заключенная сует обрубки! Попробуй-ка еще! Хочешь, чтобы меня с работы уволили за связь с контриками? Как же, нашел дуру!

Все это так чудовищно не походило на то, чего он ожидал, что он не сразу сообразил, куда подул ветерок. Он хотел схватить ее за руку, чтобы она замолчала. Ей нельзя было говорить, ему нельзя слушать такие обидные слова. Она вырвалась и побежала наружу.

По нашей зоне, меж объектов, часто бродят стрелки, собирающие свои бригады. Обстоятельства совпали так несчастно, что Лена, выскочив, налетела на чужого стрелка, проходившего мимо цеха.

— Ты чего, девушка, несешься, будто с чего-то нехорошего сорвалась? — поинтересовался стрелок и захохотал, довольный остротой.

— Понесешься, если пристают! ответила Лена, переводя дух.

— А кто пристает — зека? — деловито осведомился стрелок.

— А кто же еще? У нас одни зека.

— А как пристает? По мелкой возможности или с полной своей серьезной глубиной?

— А леший вас разберет, как лезете! У вас надо спрашивать.

Чужой стрелок Тимофея не знал и легко мог поверить любому на него навету. Когда наш постоянный конвоир услышал, что произошло, он устроил на вахте скандал, но поправить что-либо было уже поздно. Чужой стрелок двинулся в цех и строго допросил Тимофея.

— Фамилия? — начал он.

— Кольцов, — ответил багровый от стыда Тимофей. Смущение его не понравилось стрелку.

— Кольцов? Так... Скажи теперь националы полностью.

— Тимофей Петрович.

— Ладно... Пятьдесят восьмая? Ага! Так что у вас за происшествие?

Тимофей мекал и путался, чтоб не подводить Лену. Он, разумеется, умолчал о том, что они в добром согласии выпивали и закусывали, ни словом не обмолвился и о подарке, но признался, что пытался поцеловать свою работницу.

— Ясно! — сказал стрелок. — Зверское нападение заключенного на вольнонаемную с целью изнасилования. Для первого пресечения десять суток ШИЗО обеспечены, дальше разберутся следственные органы. Пошли, сам отведу на вахту!

И чужой стрелочек доставил Тимофея в зону за час до развода и сдал коменданту. В комендатуре Тимофей покорно написал невразумительное объяснение и получил свои законные десять суток.

Лена и сама была не рада, что заварила такую кашу, но пути назад уже не было. Чтоб жалоба в глазах начальства выглядела правдоподобней, она прибавила живописных подробностей, вязавшихся к Тимофею как рога к курице. В запутанной специфике нашего производственно-лагерного бытия она не разобралась и слишком поверила тому, что говорилось на собраниях. Ей внушили, что заключенный всегда виноват, а вольнонаемный всегда прав — надо, стало быть, горячей обвинять, — обвинение выручает! Но начальство думало о другом: как бы поднять повыше выдачу никеля военным заводам страны, без него не могла идти война. В глазах начальства прав был тот, от кого можно было больше получить металла, единственной сейчас реальной ценности. Тимофея уже на другое утро извлекли из карцера, вынесли в приказе выговор за плохое поведение и выдали десяток талонов на дополнительные блюда — компенсировать потери, вызванные ночью в карцере. Лену поблагодарили за сознательность и спустя день сместили из электролитчиц в уборщицы — она потеряла сразу половину зарплаты и карточку за вредность. А когда она побежала жаловаться, ей указали на тысячи промахов по работе и снисходительно разъяснили, что ждут от нее благодарности, а не возмущения. Могло получиться и хуже, допустить промахи на таком важнейшем производстве, как наше,-дело нешуточное. Тут всегда можно поинтересоваться — а почему ошибки? С какой целью ошиблась? Кто дал задание — ошибаться?

Лена поняла намек и вскоре исчезла из нашего цеха, унеся великолепные верблюжьи носки и оставив нам для лечения разбитое сердце Тимофея Кольцова.

Тимофей пришел ко мне и горестно опустил голову.

— Счастливый день! — сказал я с укором.

Он молчал, придавленный суровостью обвинения. Ладно, Тимоха, будет нам всем уроком. Что до меня, то я извлек такую пропись: верь глазам, а не словам. Глаз покажет, а слово обманет. Ленка с первого дня показалась мне стервой.

Он устало поднял лицо.

— Не скажи, Сережа! Что-то я не так подошел, а девка она неплохая Сам дал какую-то промашку. Надо допонять теперь — какую?

— Чудная мораль. Я виноват, что вор у меня украл — зачем соблазнил вора своим добром? Еще что ты открыл такого сногсшибательного?

Он смотрел в сторону. На лице его появилось что-то умильное и восторженное вместе. Такое выражение бывало у него, когда становилось очень уж плохо.

— Нет на свете счастья, Сережа! Может, кому и есть, а мне — все! За счастье надо крепкими руками цепляться, а у меня — вот они! Если Лена в рожу плюнула, чего от других надеяться? Чего, я спрашиваю? Так я ждал, так ждал этого счастливого дня!

— Проваливай, Тимоха! — закричал я, рассердившись. — Надоел со своими счастливыми днями.

Когда он вышел, я направился к химику Алексеевскому. В прошлом он руководил отделом в военно-химическом институте, считался видным специалистом по взрывчатым веществам, а ныне трудился дежурным аналитиком. Он иногда получал спирт для анализов борной кислоты в растворах. Я крепкой рукой схватил быка за рога.

— Всеволод Михайлович, как у вас в смысле горючего?

Он замялся. Он был скупенек почище моего.

— М-м-м! Как вам сказать... Чистого или в водных растворах — этого нет. А в отходах анализов, так сказать, в промводах. Да ведь надо перегонять в разделительной колонке! Если случай у вас не смертельный.

— Именно смертельный! Выслушайте меня, дорогой Всеволод Михайлович. Тимофею нужна скорая помощь. У него в сердце рваная любовная рана. Он катастрофически теряет веру в людей. Одной скверной девке удалось добиться большего, чем всем следователям и надзирателям, — мир утратил для него девяносто процентов красок. Ужасно жить в таком сером мире! От вас зависит, удастся ли возродить Тимоху к жизни. Ради этого стоит наладить разделительную колонку на одну-две тарелки и приступить к запретному искусству перегонки спирта!

На другой день я возвращался в зону, ощущая внизу живота, куда даже равнодушные вахтенные стеснялись лезть при обыске, плоскую бутылочку с двумястами «кубиками» чистейшего спирта. Тимофей не знал, какая его ждет радость. Я подождал, пока он разделается с супом, и отозвал в сторонку.

— Минутки через три, Сережа, попросил он. У меня еще каша.

— Каша не волк, в лес не убежит, — объяснил я строго. — Раз сказал иди, значит иди! Каша пригодится потом.

Он покорно поплелся за мной.

— Доставай кружку, приказал я. И держись твердо на ногах. Если упадешь от радости в обморок, представление отставляется. Сегодня ты можешь нахлестаться по выбору: как сапожник, как извозчик, как грузчик, как босяк, как плотник, как матрос или еще как-нибудь. Короче, можешь напиться в доску, в дым, в стельку, в лежку, до белых слонов, до зеленых черней, до райских голосов, до бесчувствия, до обалдения, до просветления...

Не дослушав и половины, он кинулся за кружкой. Я заставил его налить сперва воды, потом опорожнил в кружку пузырек.

— А ты? — спросил он, замирая от радостного ожидания. — Я хочу с тобой.

— Может, нам еще чокнуться, чтоб на звон бокалов набежали коменданты? Тогда допивать придется в карцере.

— Нет, я хочу с тобой! Я тебе отбавлю.

— Для хмеля мне вполне хватит твоей пьяной рожи.

— Ну, поехали! — прошептал он и жадно припал к кружке, потом передал мне: — Там немного осталось — твоя доля!

Я в два глотка справился с теплой после разбавления жидкостью.

— Теперь кашу! — сказал Тимофей спотыкающимся голосом. — Скорей кашу, а то замутит.

Мы в две ложки умяли его миску каши. Тимофей пьянел на глазах.

— Я немного на взводе...— пролепетал он. — В голове, знаешь... Ну, ты понимаешь...

— Я все понимаю. Ты мерзко нализался, или, по-лагерному, накирялся! — сказал я сурово. — Ты определенно под мухой, ты бухой, ты косой, ты осоловелый! Ты напился, напился, напился! Не понимаю, откуда ты в наше трудное время сумел достать столько спирта? Только чистосердечное признание облегчит вынесение тебе тяжкого приговора. Кто не признается, тот не раскается — так сказано в святом Евангелии от Николая Ежова. Пошли спать.

Я кое-как помог ему улечься на нары, потом повалился на свои. Мне досталось меньше спиртного, и я спал крепче. Тимофей стонал и просыпался, под утро выбегал ехать в Ригу. Перед разводом он выглядел больным, жаловался, что голова разваливается на куски. В цехе Тимофей жадно кинулся на воду и от воды захмелел снова.

Но к вечеру он перестал жаловаться на головную боль. А на другой день восторженно мне сказал:

— Как мы с тобой невозможно шарарахнули, а? Я на нарах летал, словно по воздуху, — земля проваливалась... Вот это был счастливый день так счастливый день! Никогда не забуду.

С той поры жизнь Тимофея Кольцова явственно расслоилась на две неравноценные части: одну, унылую и однообразную, до счастливого дня, когда мы с ним «правильно кутнули», и другую, начавшуюся этим удивительным днем. Он вспоминал о своем счастливом дне утром и вечером, день этот постепенно все больше обогащался, становился до того насыщенным, что мог собой наполнить целую небольшую жизнь.

А еще через какое-то время я нечувствительно выпал из этого дня и мое место заняла давно исчезнувшая Лена. С ней тоже произошли изменения, и чем шло дальше, тем изменения усиливались. Теперь она была нежна, приветлива, отзывчива и любила так горячо и преданно, так беззаветно и жертвенно, как вряд ли могла полюбить другая. Если бы не злобные души и черные руки, она и сейчас была бы с ним и единственный счастливый день продолжался вечно.

Тимофей часто приходил ко мне и говорил, растроганный:

— Помнишь, Сережа, тот вечерок, когда я выпивал с Леночкой? Что было, что было — просто неслыханно напился! Голова — электромагнитный эфир, руки — крылья, ноги — паруса! По земле шел как летел — честное слово! А она! Если бы ты только догадывался, какая это женщина! Ты бы ее руки целовал, я тебя знаю! Сердце — чистейшее золото, другого такого не найти. Вот за это ее и уволили из цеха. Позавидовали нашему счастью, честно тебе говорю!